

Таковы явления эпигонства, которые торопят смену главного течения. И здесь, в этой смене, бывают революции разных размахов, разных глубин. Есть революции домашние, «политические», есть революции «социальные» *sui generis*. И такие революции обычно прорывают область собственно «литературы», захватывая область быта.

Этот разный состав литературного факта должен быть учтен каждый раз, когда говорят о «литературе».

Литературный факт — разносоставен, и в этом смысле литература есть [не]прерывно эволюционирующий ряд.

Каждый термин теории литературы должен быть конкретным следствием конкретных фактов. Нельзя, исходя из вне- и надлитературных высот метафизической эстетики, насилием «подбирать» к термину «подходящие» явления. Термин конкретен, определение эволюционирует, как эволюционирует сам литературный факт.



БОРИСУ ЭЛХЕНБАУМУ

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

1. Положение истории литературы продолжает оставаться в ряду культурных дисциплин положением колониальной державы. С одной стороны, ею в значительной мере владеет индивидуалистический психологизм (в особенности на Западе), где вопрос о литературе неправомерно подменяется вопросом об авторской психологии, а вопрос о литературной эволюции — вопросом о генезисе литературных явлений. С другой стороны, упрощенный каузальный подход к литературному ряду приводит к разрыву между тем пунктом, с которого наблюдается литературный ряд, — а им всегда оказываются главные, но и дальнейшие социальные ряды, — и самым литературным рядом. Построение же замкнутого литературного ряда и рассмотрение эволюции внутри его паталкивается то и дело на соседние культурные, бытовые в широком смысле, социальные ряды и, стало быть, обречено на неполноту. Теория ценности в литературной науке вызвала опасность изучения главных, но и отдельных явлений и приводит историю литературы в вид «истории генералов». Слепой отпор «истории генералов» вызвал в свою очередь интерес к изучению массовой литературы, но без ясного теоретического осознания методов ее изучения и характера ее значения.

Наконец, связь истории литературы с живою современною литературой — связь выгодная и нужная для науки — оказывается не всегда нужною и выгодною для развивающейся литературы, представители которой готовы принять историю литературы за установление тех или иных традиционных норм и законов и «историчность» литературного явления смешивают с «историзмом» по отношению к нему. В результате последнего конфликта возникло стремление изучать отдельные вещи и законы их построения во вневисторическом плане (отмена истории литературы).

2. Для того чтобы стать наконец наукой, история литературы должна претендовать на достоверность. Пересмотру должны быть подвергнуты все ее термины, и прежде всего самий термин «история литературы». Термин оказывается необычайно широким, покрывающим и материальную историю художественной литературы, и историю словесности и письменности вообще; он оказывается и претенциозным, потому что «история литературы» мыслится заранее как дисциплина, готовая войти в «историю культуры» в качестве научно-отпрепарированного ряда. Прав у нее пока на это нет.

Между тем исторические исследования распадаются, по крайней мере, на два главных типа по наблюдательному пункту: исследование *генезиса* литературных явлений и исследование *эволюции* литературного ряда, литературной изменчивости.

От угла зрения зависит не только значение, но и характер изучаемого явления: момент генезиса в исследовании литературной эволюции имеет свое значение и свой характер, разумеется, не те, что в исследовании самого генезиса¹.

Далее, изучение литературной эволюции, или изменчивости, должно порвать с теориями наивной оценки, оказывающейся результатом смешения наблюдательных пунктов: оценка производится из одной эпохи-системы в другую. Самая оценка при этом должна лишиться своей субъективной окраски, и «ценность» того или иного литературного явления должна рассматриваться как «эволюционное значение и характерность».

То же должно произойти и с такими оценочными пока что понятиями, как «эпигонство», «дилетантизм» или «массовая литература»².

* Достаточно проанализировать массовую литературу 20-х и 30-х годов, чтобы убедиться в колоссальной эволюционной разнице их. В 30-е годы, годы автоматизации предшествующих традиций, годы работы над сложным литературным материалом, «дилетантизм» получает вдруг колоссальное эволюционное значение. Именно из дилетантизма, из атмосферы «стихотворных записок на полях книг» выходит новое явление — Тютчев, своими патимическими нотациями преобразующий поэтический язык и жанры. *Бытовое отношение к литературе*, кажущееся с оценочной точки зрения ее расположением, преобразует литературную систему. Между тем «дилетантизм» и «массовая литература» в 20-х годах, годах «мастеров» и создания новых поэтических жанров, окрецивались «графоманией», и тогда как «первостро-

Основное понятие старой истории литературы — «традиция» оказывается неправомерной абстракцией одного или многих литературных элементов одной системы, в которой они находятся на одном «амплуа» и играют одну роль, и сведением их с теми же элементами другой системы, в которой они находятся на другом «амплуа», — в фиктивно-единий, кажущийся целостным ряд.

Главным понятием литературной эволюции оказывается *смена систем*, а вопрос о «традициях» переносится в другую плоскость.

3. Чтобы проанализировать этот основной вопрос, нужно заранее условиться в том, что литературное произведение является системою, и системаю является литература. Только при этой основной договоренности и возможно построение литературной науки, не рассматривающей хаос разнородных явлений и рядов, а их изучающей. Вопрос о роли соседних рядов в литературной эволюции этим не отмечается, а, напротив, ставится.

Проделать аналитическую работу над отдельными элементами произведения, сложетом и стилем, ритмом и синтаксисом в прозе, ритмом и семантикой в стихе и т. д. стоило, чтобы убедиться, что абстракция этих элементов как *рабочая гипотеза* в известных пределах допустима, но что все эти элементы *соотнесены между собою* и находятся во взаимодействии. Изучение ритма в стихе и ритма в прозе должно было обнаружить, что роль одного и того же элемента в разных системах разная².

Соотнесенность каждого элемента литературного произведения как системы с другими и, стало быть, со всей системой я называю *конструктивной функцией* данного элемента.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что такая функция — понятие сложное. Элемент соотносится сразу: с одной стороны, по ряду подобных элементов других произведений-систем, и даже других рядов³, с другой стороны, с другими элементами данной системы (автофункция и синфункция).

Так, лексика данного произведения соотносится сразу с литературной лексикой и общеречевой лексикой, с одной стороны, с другими элементами данного произведения — с другой. Оба эти компонента, вернее, обе равнодействующие функции — первоначально правильны.

Функция архаизмов, напр., целиком зависит от *системы*, в которой они употреблены. В системе Ломоносова они имеют, напр.,

пенные» (с точки зрения эволюционного значения) поэты 30-х годов в борьбе с предшествующими нормами являлись в условиях «дилетантизма» (Тютчев, Полежаев), «эпигонаства и ученичества» (Пермонтов), в эпоху 20-х годов даже «второстепенные» поэты посили окраску мастеров первостепенных; ср. «универсальность» и «грандиозность» жанров у таких массовых поэтов, как Олиц. Ясно, что эволюционное значение таких явлений, как «дилетантизм», «эпигонаство» и т. д., от эпохи к эпохе разное, и высокомерное, оценочное отношение к этим явлениям — наследство старой истории литературы.

функцию так называемого «высокого» словоупотребления, так как в этой системе доминирующую роль в данном случае играет лексическая окраска (архаизмы употребляются по лексическим ассоциациям с церковным языком). В системе Тютчева функции архаизмов другие, они в ряде случаев абстрактны: фонтан — водомет. Любопытны как пример случаи архаизмов в иронической функции:

Пушек гром и мусикия!⁴ —

у поэта, употребляющего такие слова, как «музикейский», соверенно в иной функции. Автофункция не решает, она дает только возможность, она является условием синфункции. (Так, к времени Тютчева за XVIII и XIX века была уже обширная пародическая литература, где архаизмы имели пародическую функцию.) Но решает в данном случае, конечно, семантическая и интонационная система данного произведения, которая позволяет соотнести данное выражение не с «высоким», а с «ироническим» словоупотреблением, т. е. определяет его функцию.

Вырывать из системы отдельные элементы и соотносить их вне системы, т. е. без их конструктивной функции, с подобным рядом других систем неправильно.

4. Возможно ли так называемое «имманентное» изучение произведения как системы, вне его соотнесенности с системою литературы? Такое изолированное изучение произведения есть также абстракция, что и абстракция отдельных элементов произведения. По отношению к современным произведениям она сплошь и рядом применяется и удается в критике, потому что соотнесенность современного произведения с современной литературой — заранее установленный и только замалчиваемый факт. (Сюда относится соотнесенность произведения с другими произведениями автора, соотнесенность его с жанром и т. д.)

Но уже и по отношению к современной литературе невозможен путь изолированного изучения.

Существование факта *как литературного* зависит от его дифференциального качества (т. е. от соотнесенности либо с литературным, либо с внелитературным рядом), другими словами — от функции его.

То, что в одной эпохе является литературным фактом, то для другой будет общеречевым бытовым явлением, и наоборот, в зависимости от всей литературной системы, в которой данный факт обращается.

Так, дружеское письмо Державина — факт бытовой, дружеское письмо Карамзинской и пушкинской эпохи — факт литературный. Ср. литературность мемуаров и дневников в одной системе литературы и внелитературность в другой.

Изучая изолированно произведение, мы не можем быть уверенными, что правильно говорим об его конструкции, о конструкции самого произведения.

Здесь и еще одно обстоятельство. Автофункция, т. е. соотнесенность какого-либо элемента с рядом подобных элементов других систем и других рядов, является условием синфункции, конструктивной функции данного элемента.

Поэтому не безразлично, «стерт» ли, «бледен» ли такой-то элемент или же нет. Что такое «стертость», «бледность» стиха, метра, сюжета и т. д.? Иными словами, что такое «автоматизация» того или иного элемента?

Приведу пример из лингвистики: когда «бледнеет» представление значения⁵, слово, выражающее представление, становится выражением связи, отношения, становится служебным словом. Иными словами, меняется его функция. То же и с автоматизацией, с «побледнением» любого литературного элемента: он исчезает, только функция его меняется, становится служебной. Если метр в стихотворении «стерт», за него счет становятся важными другие признаки стиха и другие элементы произведения, а он несет иные функции⁶.

Так, стиховой «маленький фельетон» в газетедается по преимуществу на стертых, банальных метрах, давно оставленных поэзию. Как «стихотворение», соотнесенное с «поэзией», его никакто бы и читать не стал. Стертый метр является здесь средством литературному ряду. Функция его совершенно другая, нежели в поэтическом произведении, она служебная. К тому же ряду фактотов относится и «пародия» в стиховом «маленьком фельетоне». Пародия литературно жива постольку, поскольку живо пародируемое. Какое литературное значение может иметь заведомо тысячная пародия на лермонтовское «Когда волнуется желтеющая нива...» и на пушкинского «Пророка»? Между тем стиховой «маленький фельетон» сплошь да рядом пользуется ею. И здесь мы имеем то же: функция пародии стала служебной, она служит для прикрепления внелитературных фактов к литературному ряду.

Если «стерта» так называемая сюжетная проза, то фабула имеет в произведении иные функции, нежели в том случае, когда сюжетная проза в литературной системе не «стерта». Фабула может быть только мотивировкой стиля или способа развертывания материала.

Говоря грубо, описания природы в старых романах, которые мы, двигаясь в определенной литературной системе, были бы склонны сводить к роли служебной, к роли спайки или торможения (а значит, почти пропускать), двигаясь в другой литературной системе, мы были бы склонны считать главным, доминирующим элементом, потому что возможно такое положение, что фабула являлась только мотивировкой, поводом к развертыванию «статических описаний».

5. Подобным же образом решается вопрос наиболее трудный, наименее исследованный: о литературных жанрах. Роман,

кажущийся целым, внутри себя на протяжении веков развивающимся жанром, оказывается не единственным, а переменным, с меняющимся от литературной системы к системе материалом, с меняющимся методом введения в литературу внелитературных речевых материалов, и самые признаки жанра эволюционируют. Жанры «рассказ», «повесть» в системе 20-х — 40-х годов определялись, как то яствует из самых названий, другими признаками, нежели у нас*. Мы склонны называть жанры *по второстепенным результативным признакам*, грубо говоря, по величине. Названия «рассказ», «повесть», «роман» для нас адекватны определению количества печатных листов. Это доказывает не столько «автоматизированность» жанров для нашей литературной системы, сколько то, что жанры определяются у нас по иным признакам. Величина вещи, речевое пространство — не безразличный признак. В изолированном же от системы произведении мы жанра и вовсе не в состоянии определить, ибо то, что называли одою в 20-е годы XIX века или, наконец, Фет, называлось одою не по тем признакам, что во время Ломоносова.

* Ср. словоупотребление «рассказ» в 1825 г. в «Московском телеграфе» в рецензии о «Евгении Онегине»: «Кто из поэтов имел рассказ, т. е. исполнение поэмы, целью, и даже кто из прозаиков в творении обширном? В «Тристраме Шанди», где, по-видимому, все заключено в рассказе, рассказ совсем не цель сочинения» («Московский телеграф», 1825, № 15. Особенное прибавл., стр. 5). Т. е. «рассказ» здесь, очевидно, близок к нашему термину «сказ». Эта терминология вовсе не случайна и продержалась долго. Ср. определение жанров у Дружинина в 1849 г.: «Сам автор (Загоскин.—Ю. Т.) назвал это произведение («Русские в начале осмындиатого столетия».—Ю. Т.) *рассказом*; в оглавлении же оно означено именем *романа*; но что же это в самом деле, теперь определить трудно, потому что оно еще не кончено. (...) По-моему, это и не рассказ, и не роман. Это *не рассказ*, потому что *изложение выходит не от автора или какого-нибудь постороннего лица, а напротив, драматизировано* (или, вернее, диалогировано); так что сцены и разговоры беспрерывно сменяются один другими; наконец, повествование занимает самую меньшую часть. Это *не роман*, потому что с этим словом соединяются требования и поэтического творчества, художественности в изображении характеров и положений действующих лиц. (...) Стану называть его *романом*, потому что он имеет на то все предпосылки» (А. В. Дружинин. Собр. соч., т. 6. СПб., 1865, стр. 41. «Письма иностранных подписанчиков»). Ставлю здесь же один любопытный вопрос.

В разное время, в разных национальных литературах замечается тип «рассказа», где в первых строках выведен рассказчик, далее не играющий никакой сюжетной роли, а рассказ ведется от его имени (Мопассан, Тургенев). Объяснить сюжетную функцию этого рассказчика трудно. Если зачеркнуть первые строки, его рисующие, сюжет не изменится. (Обычное начало-штамп в таких рассказах: «Н. Н. закурил сигару и начал рассказ». Думаю, что здесь явление не сюжетного, а жанрового порядка⁷. «Рассказчик» здесь — ярлык жанра, сигнал жанра «рассказ» — в известной литературной системе.

Эта сигнализация указывает, что жанр, с которым автор соотносит свое произведение, стабилизирован. Поэтому «рассказчик» здесь жанровый рудимент старого жанра. Тогда «сказ» у Лескова мог явиться вначале из «установки» на старый жанр, как средство «воскрешения», подновления старого жанра, и только впоследствии перерос жанровую функцию. Вопрос, разумеется, требует особого исследования.

На этом основании заключаем: изучение изолированных жанров вне знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся, невозможно. Исторический роман Толстого не соотнесен с историческим романом Загоскина, а соотносится с современной ему прозой.

6. Странного говоря, вне соотнесенности литературных явлений и не бывает их рассмотрения. Таков, напр., вопрос о прозе и поэзии. Мы молчаливо считаем метрическую прозу — прозой и неметрический верлибр — стихом, не отдавая себе отчета в том, что в иной литературной системе мы были бы поставлены в затруднительное положение. Дело в том, что проза и поэзия относятся между собою, есть взаимная функция прозы и стиха. (Ср. установленное Б. Эйхенбаумом взаимоотношение развития прозы и стиха, их корреляцию.)⁸

Функция стиха в определенной литературной системе выполнялась формальным элементом метра.

Но проза дифференцируется, эволюционирует, одновременно эволюционирует и стих. Дифференция одного соотнесенного типа влечет за собою или, лучше сказать, связана с дифференцией другого соотнесенного типа. Возникает метрическая проза (напр., Андрей Белый). Это связано с перенесением стиховой функции в стихе с метра на другие признаки, частью вторичные, результативные: на ритм как знак стиховых единиц, особый синтаксис, особую лексику и т. д. Функция прозы к стиху остается, но формальные элементы, ее выполняющие, — другие.

Дальнейшая эволюция форм может либо на протяжении веков закрепить функцию стиха к прозе, перенести ее на целый ряд других признаков, либо нарушить ее, сделать несущественной; и подобно тому как в современной литературе малосущественна соотносительность жанров (по вторичным, результативным признакам), так может настать период, когда несущественно будет в произведении, написано ли оно стихом или прозой.

7. Эволюционное отношение функции и формального элемента — вопрос совершенно неисследованный. Я привел пример того, как эволюция форм вызывает изменение функции. Примеры того, как форма с неопределенной функцией вызывает новую, определяет ее, многочисленны. Есть примеры другого рода: функция ищет своей формы.

Приведу пример, в котором сочетались оба момента.

В 20-х годах в литературном направлении архаистов возникает функция высокого и простонародного стихового эпоса. Соотнесенность литературы с социальным рядом ведет их к большой стиховой форме. Но формальных элементов нет, «заказ» социального ряда оказывается не равным «заказу» литературному и виснет в воздухе. Начинаются поиски формальных элементов. Катенин в 1822 г. выдвигает октаву как формальный элемент стиховой эпопеи. Страстность споров вокруг невинной с виду октавы под стать трагическому сиротству функции без формы. Эпос

архаистов не удается. Через 8 лет форма используется Шевыревым и Пушкиным в другой функции — ломки всего четырехстопного ямбического эпоса и нового, сниженного (а не «высокого»), оппозиционированного эпоса («Домик в Коломне»)⁹.

Связь функции и формы не случайна. Не случайно одинаково сочетание лексики определенного типа с метрами определенного типа у Катенина и через 20—30 лет у Некрасова, вероятно, и понятия не имевшего о Катенине¹⁰.

Переменность функций того или иного формального элемента, возникновение той или иной новой функции у формального элемента, закрепление его за функцией — важные вопросы литературной эволюции, решать и исследовать которые здесь пока не место.

Скажу только, что здесь от дальнейших исследований зависит весь вопрос о литературе как о ряде, о системе.

8. Представление о том, что соотнесенность литературных явлений совершаются по такому типу: произведение вдвигается в синхронистическую литературную систему и «обрастает» там функцией, — не совсем правильно. Самое понятие непрерывно эволюционирующей синхронистической системы противоречиво. Система литературного ряда есть прежде всего система функций литературного ряда, в непрерывной соотнесенности с другими рядами. Ряды меняются по составу, но дифференциальность человеческих деятельности остается. Эволюция литературы, как и других культурных рядов, не совпадает ни по темпу, ни по характеру (ввиду специфики материала, которым она орудует) с рядами, с которыми она соотнесена. Эволюция конструктивной функции совершается быстро. Эволюция литературной функции — от эпохи к эпохе, эволюция функций всего литературного ряда по отношению к соседним рядам — столетиями.

9. Ввиду того что система не есть равноправное взаимодействие всех элементов, а предполагает выдвинутость группы элементов («доминанта») и деформацию остальных, произведение входит в литературу, приобретает свою литературную функцию именно этой доминантой. Так, мы соотносим стихи со стиховым рядом (а не прозаическим) не по всем их особенностям, а только по некоторым. То же и в соотнесенности по жанрам. Мы соотносим роман с «романом» сейчас по признаку величины, по характеру развития сюжета, никогда разносили по наличию любовной интриги.

Здесь еще один любопытный, с точки зрения эволюционной, факт. Соотносится произведение по тому или иному литературному ряду, в зависимости от «отступления», от «дифференции» именно по отношению к тому литературному ряду, по которому оно разносится. Так, напр., вопрос о жанре пушкинской поэмы, необычайно острый для критики 20-х годов, возник потому, что пушкинский жанр явился комбинированным, смешанным, новым, без готового «названия». Чем острее расхождения с тем или

иным литературным рядом, тем более подчеркивается именно та система, с которой есть расхождение, дифференция. Так, верлибр подчеркнул стиховое начало на *внешметрических* признаках, а роман Стерна — сюжетное начало на *внефабульных* признаках (Шкловский)¹¹. Аналогия из лингвистики: «изменчивость основы заставляет сосредоточивать на ней максимум выразительности и выводит ее из сети приставок, которые не изменяются» (Вандриес)¹².

10. В чем соотнесенность литературы с соседними рядами?
Далее, каковы эти соседние ряды?

Ответ у нас всех готов: быт.

Но для того чтобы решить вопрос о соотнесенности литературных рядов с бытом, поставим вопрос: *как, чем* соотнесен быт с литературой? Ведь быт по составу многогранен, многосторонен, и только функция всех его сторон в нем специфическая. *Быт соотнесен с литературой прежде всего своей речевой стороной*. Такова же соотнесенность литературных рядов с бытом. Эта соотнесенность литературного ряда с бытовым совершается по *речевой линии*, у литературы по отношению к быту есть *речевая функция*.

У нас есть слово «установка». Она означает примерно «творческое намерение автора». Но ведь бывает, что «намерение блажее, да исполнение плохое». Прибавим: авторское намерение может быть только ферментом. Орудия специфическим литературным материалом, автор отходит, подчиняясь ему, от своего намерения. Так, «Горе от ума» должно было быть «высоким» и даже «великолепным» (по авторской терминологии, не сходной с нашей), но получилось политической «архаистической» памфлетной комедией¹³. Так, «Евгений Онегин» должен был быть сначала «сатирическою поэмой», в которой автор «захлебывается желчью»¹⁴. А работая над 4-й главой, Пушкин уже пишет: «Где у меня сатира? Оней и помину нет в «Евгении Онегине»¹⁵.

Конструктивная функция, соотнесенность элементов внутри произведения обращает «авторское намерение» в фермент, но не более. «Творческая свобода» оказывается лозунгом оптимистическим, но не соответствует действительности и уступает место «творческой необходимости»¹⁶.

Литературная функция, соотнесенность произведения с литературными рядами довершает дело.

Вычеркнем телеологический, целевой оттенок, «намерение» из слова «установка»¹⁷. Что получится? «Установка» литературного произведения (ряда) окажется его *речевой функцией*, его соотнесенностью с бытом.

Установка оды Ломоносова, ее речевая функция — ораторская. Слово «установлено» на *произнесение*. Дальнейшие бытовые ассоциации — *произнесение в большом, в дворцовом зале*. Ко времени Карамзина ода «износилась» литературно. Погибла или сумзилась в своем значении установка, которая пошла на другие,

уже бытовые формы. Оды поздравительные и всякие другие стали «щипельными стихами», делом только бытовым. Готовых литературных жанров нет. И вот их место занимают *бытовые речевые явления*. Речевая функция, установка ищет формы и находит ее в романсе, шутке, игре с рифмами, буриме, шараде и т. д. И здесь свое эволюционное значение получает момент генезиса, наличие тех или иных бытовых *речевых форм*. Дальнейшие бытовые ряды этих речевых явлений в эпоху Карамзина — салон. Салон — факт бытовой — становится в это время литературным фактом. Таково закрепление бытовых форм за литературной функцией.

Подобно этому, домашняя, интимная, кружковая семантика всегда существует, но в известные периоды¹⁸ она обретает литературную функцию.

Таково в литературе и закрепление *случайных результатов*: черновые стиховые программы и черновые «сценарии» Пушкина становятся его чистовой *прозой*¹⁹. Это возможно только при эволюции целого ряда, *при эволюции его установки*.

Аналогия нашего времени для борьбы двух установок: митинговая установка стиха Маяковского (*«ода»*) в борьбе с камерной романской установкой Есенина (*«элегия»*)²⁰.

11. Речевая функция должна быть принята во внимание и в вопросе об обратной *экспансии литературы в быт*. «Литературная личность», «авторская личность», «герой» в разное время является *речевой установкой* литературы и оттуда идет в быт. Таковы лирические герои Байрона, соотносившиеся с его «литературной личностью» — с тою личностью, которая ожидала у читателей из стихов, и переходившие в быт. Такова «литературная личность» Гейне, далекая от биографического подлинного Гейне. Биография в известные периоды оказывается устной, апокрифической *литературой*. Это совершается закономерно, в связи с речевой установкой данной системы: Пушкин, Толстой, Блок, Маяковский, Есенин²¹ — ср. с отсутствием литературной личности Лескова, Тургенева, Фета, Майкова, Гумилева и др., связанным с отсутствием речевой установки на «литературную личность». Для экспансии литературы в быт требуются, само собой, — особые бытовые условия.

12. Такова *ближайшая социальная функция* литературы. Только через изучение ближайших рядов возможно ее установление и исследование. Только при рассмотрении ближайших условий возможно оно, а не при насилиственном привлечении дальнейших, пусть и главных, каузальных рядов.

И еще одно замечание: понятие «установки», речевой функции относится к литературному ряду или системе литературы, но не к отдельному произведению. Отдельное произведение должно быть соотнесено с литературным рядом, прежде чем говорить об его установке. Закон больших чисел неприложим к малым. Устанавливая сразу дальнейшие каузальные ряды для отдельных произ-

ведений и отдельных авторов, мы изучаем не эволюцию литературы, а ее модификацию, не как изменяется, эволюционирует литература в соотнесенности с другими рядами, а как ее деформируют соседние ряды,— вопрос, также подлежащий изучению, но уже в совершенно иной плоскости.

Особенно неподежен здесь прямолинейный путь изучения авторской психологии и переброска каузального мостика от авторской среды, быта, класса к его произведениям. Эротическая поэзия Батюшкова возникла из работы его над поэтическим языком (ср. его речь «О влиянии легкой поэзии на язык»), и Вяземский отказывался искать ее генезис в психологии Батюшкова (см. выше, стр. 250). Поэт Полонский, который никогда не был теоретиком и, однако, как поэт, как мастер своего дела, это дело понимал, пишет о Бенедиктове: «Весьма возможно, что суровая природа: леса, камни (...) влияли на впечатлительную душу ребенка,— будущего поэта; но как влияли? Это вопрос трудный, и никто без натяжек не разрешит его. Не природа, для всех одипаковая, играет тут главную роль...»²² Типичны переломы художников, не объяснимые их личными переломами: типы переломов Державина, Некрасова, у которых «высокая» поэзия в молодости идет рядом с «низкой», сатирической и при объективных условиях сливаются, давая новые явления. Ясно, что здесь вопрос не в индивидуальных психических условиях, а в объективных, в эволюции функций литературного ряда по отношению к ближайшему социальному.

13. Поэтому должен быть подвергнут пересмотру один из сложных эволюционных вопросов литературы — вопрос о «влиянии». Есть глубокие психологические и бытовые личные влияния, которые никак не отражаются в литературном плане (Чаадаев и Пушкин). Есть влияния, которые модифицируют, деформируют литературу, не имея эволюционного значения (Михайловский и Глеб Успенский). Всего же поразительнее факт наличия внешних данных для заключения о влиянии — при отсутствии его. Я приводил пример Катенина и Некрасова. Эти примеры могут быть продолжены. Южноамериканские племена создают миф о Прометеев без влияния античности. Перед нами факты *конвергенции*²³, совпадения. Эти факты оказываются такого значения, что ими совершенно покрывается психологический подход к вопросу о влиянии, и вопрос хронологический — «кто раньше сказал?» оказывается несущественным. «Влияние» может совершиться тогда и в таком направлении, когда и в каком направлении для этого имеются литературные условия. Оно предоставляет художнику при совпадении функции формальные элементы для ее развития и закрепления. Если этого «влияния» нет, аналогичная функция может привести и без него к аналогичным формальным элементам²⁴.

14. Здесь пора поставить вопрос о главном термине, которым оперирует история литературы, о «традиции». Если мы условим-

ся в том, что эволюция есть изменение соотношения членов системы, т. е. изменение функций и формальных элементов, — эволюция оказывается «сменой» систем. Смены эти носят от эпохи к эпохе то более медленный, то скачковой характер и не предполагают внезапного и полного обновления и замены формальных элементов, но они предполагают *новую функцию этих формальных элементов*. Поэтому самое сличие тех или иных литературных явлений должно проводиться по функциям, а не только по формам. Совершенно несходные по видимости явления разных функциональных систем могут быть сходны по функциям, и наоборот. Вопрос затемняется здесь тем, что каждое литературное направление в известный период ищет своих опорных пунктов в предшествующих системах, — то, что можно назвать «традиционностью».

Так, быть может, функции пушкинской прозы ближе к функциям прозы Толстого, нежели функции пушкинского стиха к функции подражателей его в 30-х годах и Майкова.

15. Резюмирую: изучение эволюции литературы возможно только при отношении к литературе как к ряду, системе, соотнесенной с другими рядами, системами, ими обусловленной. Рассмотрение должно идти от конструктивной функции к функции литературной, от литературной к речевой. Оно должно выяснить эволюционное взаимодействие функций и форм. Эволюционное изучение должно идти от литературного ряда к ближайшим соотнесенным рядам, а не дальнейшим, пусть и главным. Доминирующее значение главных социальных факторов этим не только не отвергается, но должно выясниться в полном объеме, именно в вопросе об *эволюции* литературы, тогда как непосредственное установление «влияния» главных социальных факторов подменяет изучение *эволюции* литературы изучением *модификации* литературных произведений, их деформации.

сопровожденные краткими его комментариями, становятся «литературой», вступая в сложное взаимодействие со всем творчеством писателя, лежащим за пределами данного сборника.

³⁰ Ср.: А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. М., 1940, стр. 21.

³¹ Н. И. Гnedич.

³² Этим псевдонимом пользовались разные лица: М. Т. Каченовский, М. П. Погодин, П. Л. Яковлев.

³³ Ср. в 20-е годы XX в. псевдоним Ю. Олеши «Зубило», под которым он печатал свои стихотворные фельетоны в «Гудке» и который принципиально важен ему как особая социально-литературная ипостась авторской личности, предполагающая полное «замещение» других ее ипостасей, или псевдоним «Гаврила», стоявший под фельетонами Михаила Зощенко и не редко «впередищийся» непосредственно в тексте, уроняя и уязвляя ту «литературную личность», которая складывалась параллельно в рассказах и повестях Зощенко, подпанных собственным его именем. Соображения Тынянова о специфическом «поведении» антропонимов в художественном тексте (ср. также статью «Достоевский и Гоголь» и прим. 21 к ней) и литературном быту предвосхитили позднейшие исследования по поэтической ономастике, которая и причины исходит из положения, выраженного в словах Тынянова: «В художественном произведении нет неговорящих имен» (ср. хотя бы использование «бесцветных» имен в качестве заглавий в современных Тынянову поэзии и прозе — «Ивановы» Заболоцкого, «Козлова» Л. Добычина).

*

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Впервые — «На литературном посту», 1927, № 10, стр. 42–48, под заглавием «Вопрос о литературной эволюции», без посвящения. С некоторыми изменениями вошло в АиН, где датировано: 1927. Печатается по тексту АиН.

Работа тесно связана со статьей «Литературный факт», где главенствует проблема литературной эволюции. После «Литературного факта» эта проблема продолжала оставаться основной теоретической темой Тынянова. Замысел новой работы возник не позже первой половины 1925 г. 25 июня 1925 г. Б. М. Эйхенбаум писал В. Е. Шкловскому: «Нам надо было бы издать сборник статей о литературной эволюции и истории литературы — вот это было бы дело. Мы никаку не двинемся, пока не возьмем этот вопрос за горло — отмахнусь от него пальца. Юрий начал интересно работать над общим вопросом об эволюции. У него много сил — он, я думаю, сумеет расшевелить кое-что» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 782). 4 октября Эйхенбаум записал в дневнике: «Заходил Тынянов [...] Интересную работу готовят об эволюции» (ЦГАЛИ, ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 245). В письме к Шкловскому от 1 октября того же года Тынянов писал: «Работаю над книжкой „Эволюция литературы“» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 722).

В «Отчете о научной деятельности Отдела словесных искусств ГИИИ», охватывающем период до 1 января 1926 г., значится подготовленная к печати работа Ю. Н. Тынянова «Проблема литературной эволюции» (П—I, стр. 160). Предисловие Тынянова к сб. «Русская проза» (Л., 1926; написано не позже декабря 1925 г.), в котором конспективно изложены основные положения статьи «О литературной эволюции», убеждает, что к этому времени им были разработаны важнейшие аспекты темы; сам он рассматривает это предисловие как «пополнение оглавление будущей книги» (стр. 11). Из письма Шкловскому, датируемого мартом — апрелем 1927 г., видно, что эта тема по-прежнему мыслилась в широких границах и определяла для автора планы ближайших лет: «Кончу роман, разные занятия, закачусь

на погибельный Кавказ, буду писать об эволюции литературы. Крешко оней думаю, кое-что выдумал. [...] Выйдет у нас, чувствуя, дело. Необходимо еще прожить 15 лет. Обоснову свое значение на жизни, а не на смерти — это дело для поэтов» (ЦГАЛИ).

Статья, вычленившаяся из общего замысла книги, была завершена примерно в конце марта 1927 г. и прочитана в ГИИИ. 10 марта Эйхенбаум записывает в дневнике: «29-го марта — юбилейное заседание напротив отдела в Институте истории искусств; поручено говорить мне (о литературном быте) и Тынянову (о литературной эволюции)» (ЦГАЛИ). На этом открытом заседании Отдела словесных искусств, посвященном 15-летию ГИИИ, состоялся доклад Тынянова (П—IV, стр. 153). Ранее, 6 марта, выступая на диспуте о формальном методе в Тенишевском училище, Тынянов опирался на основные идеи работ о литературном факте и о литературной эволюции («Новый Лейф», 1927, № 4, стр. 46). 26 апреля 1927 г. К. И. Чуковский записал в дневнике: «Был вчера у Тынякова. [...] На диване рукописи — самые разные — куски романа о Грибоедове, ученная статья об эволюции художественной прозы, переводы из Гейне» (хранится у Е. Ц. Чуковской). Весь статья была послана в журнал «На литературном посту». 9 мая 1927 г. Тынянов писал Шкловскому: «У меня к тебе, Витенька, дело. Ко мне месяца полтора назад обратился „Пост“, нет ли статьи — я и Боря послали^a. У меня теоретическая, читал ее в институте. „Пост“ был как „Пост“ и все-таки лучше „Нови“ и „Нивы“. Значит, можно было печататься. Теперь, говорят, мелкий бес тебя там обывал^b. Между тем статью мою там пришли. Я беса сице не читал, но не сомневаюсь, что гибнет. Не знаю обстоятельств, кто тут в центре — бес или „Пост“, личность или неприличность. Если второе, придется написать, что не могу у них печататься. Посоветуй» (ЦГАЛИ). По-видимому, ответ Шкловского привел Тынянова к решению печататься в журнале.

Статьи Эйхенбаума и Тынянова в журнале «На литературном посту» были встречены как свидетельство методологических затруднений и существенных перемен внутри формальной школы (в этом же плане воспринимались вышедшие в 1928 г. книги Шкловского «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир“» и Эйхенбаума — «Лев Толстой», кн. I. См., напр.: М. Григорьев. Кризис формализма. — В его кн.: Литература и идеология. М., 1929 (первоначально: «Печать и революция», 1927, № 9); Е. Мустангова. Формалисты на новом этапе. — В сб.: За марксистское литературоведение. Л., 1930; Ц. Вольпе. Теория литературного быта (там же); П. Н. Санулин. К итогам русского литературоведения за десять лет. — «Литература и марксизм», 1928, кн. I).

После опубликования статьи проблема не перестает занимать Тынянова. В переписке со Шкловским 1928 г. повторяется мысль о будущей совместной работе — построении систематической истории русской литературы, несомненно в связи с концепцией, которая складывалась у Тынянова в 1925—1927 гг. Об этом же замысле говорит в дневниковой записи от 15 мая 1928 г. Эйхенбаум: «Витя приехал на два дня. С Юрием прошлись

^a Статья Эйхенбаума — «Литература и литературный быт» («На литературном посту», 1927, № 9).

^b Имеется в виду рецензия О. Бескина на «Третью фабрику» Шкловского, напечатанная в № 7 «На литературном посту» под названием «Кустарная мастерская литературной реакции». В письме от 8—9 апреля 1927 г. Эйхенбаум писал Шкловскому: «Юра тоже отдал свою статью о литературной эволюции в „Пост“ — она пойдет, вероятно, без возражений: в ней трудно редакции понять что-либо, напечатают из уважения. Он тоже смущен статьей Бескина — напишите нам, тебе виднее. Я напомню Авербаху, что следовало бы им показать, что редакция не поддается под этой статьей — если журнал, так он пишет мне, стремится к серьезному, деловому и вдумчивому обсуждению разногласий» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 782).

вечер у меня. Толковали о многом. О будущей нашей истории литературы. Это было бы действительно дело!» (ЦГАЛИ, ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 247; ср. в предисловии Эйхенбаума к сб. «Русская проза», стр. 6—7, а также прим. к «Предисловию к АИН»).

Конец 1928 г. был отмечен энергичными попытками реорганизации Ополя на основе переосмысления теоретических принципов общества (о направлении этого переосмысления см. прим. к тезисам «Проблемы изучения литературы и языка»). 16 декабря 1928 г. Тынянов изложил содержание статьи, выступая в Пражском лингвистическом кружке с докладом о литературной эволюции (см. прим. к указ. тезисам).

Изменение названия статьи в АИН в известном смысле знаменательно: оно как бы засвидетельствовало прекращение работы над проблемой — «вопрос» оказался ответом. Изложен он в тезисной форме и потому требует подробного комментария.

Иной ответ — концепцию литературного быта — предлагал в ряде статей этих лет Эйхенбаум (всплыли в его кн. «Мой времеаник», 1929). Как любезно сообщила комментатором Л. Я. Гинзбург, обсуждение этой концепции в семинаре Эйхенбаума и Тынянова (первая половина 1927 г.) стало одним из эпизодов кризиса семинара, прекратившего свою работу в 1927 г.: «Теория была встречена возражениями. Выслушав их, Борис Михайлович сказал: „Семинарий проявил полное единодушие. Я — в ужасном положении. Но положение могло быть еще гораздо ужаснее. Представьте себе, что так, лет через пять вы начали бы говорить какие-нибудь там новые, смелые вещи и я бы вас не понимал. Ведь это было бы ужасно! К счастью, сегодня все получилось наоборот!“

И сам Эйхенбаум, и молодые авторы, последовавшие за концепцией литературного быта (М. Аронсон и С. Рейсер. Литературные кружки и салоны. Л., 1929; Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин. Словесность и коммерция. М., 1929) в-г, ссылались на «Литературный факт» и «О литературной эволюции» как на принципиально близкие им работы. Действительно, стремление к теоретическому обоснованию истории литературы, различие кате-

в-г Приводим (в переводе) рецензию Тынянова на эту книгу: «В настоящее время в теории и истории русской литературы одним из наиболее актуальных является вопрос о взаимосвязи между литературой и другими социальными областями. Книга молодых московских исследователей представляет собой попытку изучить „литературную среду“, область, наиболее близко стоящую к литературе. Русский термин „литературная среда“ является очень запутанным комплексом. Сюда относится как проблема профессионализации писательской работы, так и проблемы исторической роли дилетантизма, книжного рынка, соотношения между журналом и альманахом. Практически совершенное отсутствие исследований по этим чрезвычайно важным проблемам объясняет то вполне понятное предпочтение к многокрасочному материалу, которое обнаруживают пионеры этих изысканий. Эта весьма широкая тематическая палитра рассматриваемой книги является ее сильной, и, одновременно, слабой стороной. Богатство привлекшего исторического материала, представленного к тому же в свете современных проблем, несомненно, вызывает живой интерес. В то же время то обстоятельство, что авторы отказались от необходимой научной обработки этого материала, следует оценить как недостаток книги. Всю же работу следует характеризовать как одну из первых попыток забыть шурф (*Schürfungsversuche*) в одной из важнейших областей современного русского литературоведения» (*Slavische Rundschau*, 1929, № 3, С. 191). Ср. в письме к Шкловскому из Праги (декабрь 1928 г.): «Поблагодари своих молодых, они очень быстро исполнили мою просьбу и прислали „Словесность и коммерцию“ с трогательной надписью. В книге они, конечно, захлебнулись от интереса и удивления. Материала в ней тронуто слишком много. И это по крайней мере *свежо*, хоть и зелено. Я написал рецензию, хорошую» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 723).

горий эволюции и генезиса, поиски выхода к внелитературным рядам присущи и Эйхенбауму и Тынянову. Но они намечали два разных пути — ближайших конкретных исследований и «опережающих» теоретических построений.

Эти построения основываются на идее системности. Как и в «Литературном факте», исходные постулаты мыслятся тождественными для литературы в целом и для отдельных ее участков. Предлагается предварительное условие: признак системности приписывается литературе (данной эпохи) вообще и любому произведению, и притом считается основным. Отсюда по крайней мере двойная соотнесенность всякого рассматриваемого элемента произведения — с каждой из этих систем (практически отнесение конкретного текста со «всей литературой» опосредовано жанром). Это представление Тынянова опередило свое время и передало последующей науке задачу большой сложности. Еще и в настоящее время принцип системного подхода наиболее последовательно проводится при анализе отдельного текста, значительно менее последовательно при обращении к совокупности текстов одного автора или нескольким сопоставляемым текстам разных и в совершение недостаточной степени применяется для описания «всей литературы» данной эпохи ^д. Следует отметить одно чрезвычайно важное следствие, вытекающее из признания любого факта литературы системным: в процессе литературной эволюции отступление данного факта от прежней его соотнесенности подчеркивает эту соотнесенность, актуализует всю систему литературных связей (см. пункт 9 статьи). Таким эффектом сопровождаются, в частности, жанровые цивилизации ^е. Другой важнейший тезис Тынянова интерпретирует категорию формы и в частном случае — феномен «новой формы». В связи с этим надо подчеркнуть, что Тынянов употреблял (не всегда последовательно) термин «функция», не придавая ему целевого значения (что соответствует общему его отталкиванию от телеологического понимания поэтики — ср. прим. 17). Сказать, что элемент (произведение — или произведение как элемент «всей литературы») выступает в некоторой функции — не значит определить, с какой целью он употреблен (даже если цель понимается не как субъективно творимая, а как заданная объективно); это значит прежде всего определить область корреляций элемента, провести линию соотнесенности — одну из множества линий, образующих схему данной литературной системы. Абстрактная схема функций-соотнесеностей есть начало, организующее эмпирическую совокупность форм, непрерывное возникновение которых образует реальную жизнь литературы. Любой формальный элемент (или целостная «форма») представляет собой реализацию некоторого отношения и в этом плане мыслится зависимым от функции. Одна из подготовительных записей к статье так определяет соотношение основных категорий концепции: «Главное в историко-эволюционном порядке — форма. Главное в логическом порядке — функция» (АК). Блестящее рассуждение, проведенное в этом плане, — в добавлении 1928 г. к «Стиховым формам Некрасова» (см. в наст. изд.), статье, где уже было намечено понимание функциональных различий в использовании тождественных формальных элементов. (Ср.: T. Todorov. Poétique de la prose. Paris, 1971, p. 19).

Д. С. Лихачев показывает соотнесенность литературных и фольклорных жанров в общей системе словесной культуры древней Руси (см. раздел «Поэтика литературы как системы целого», глава «Отношения литературных жанров между собой» в его кн.: Поэтика древнерусской литературы, изд. 2-е. Л., 1971). Ср. постановку вопроса о теоретической истории литературы в его кн.: Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973.

Это близко идеям М. М. Бахтина о «памяти жанра». Можно указать и другие, совершение определенные точки сопряжения: так, Бахтин указывает на текучесть границ «между художественным и внехудожественным, между литературой и не литературой» (М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, стр. 475—476, ср. стр. 24—25).

Научное творчество Тынянова сложно преломило некоторые течения современной ему филологической мысли. Бросается в глаза своеобразное стакновение в его работах — более всего в статье «О литературной эволюции» — принципа историзма, с одной стороны, и тенденций, обусловленных достижениями «лингвистического модернизма», с другой. Стоило бы специально рассмотреть влияние Ф. де Соссюра и И. А. Бодуэна де Куртенэ на тыняновский подход к литературной эволюции, что расширило бы представление о плодотворном взаимодействии лингвистики и поэтики в русской филологии 10—20-х годов и о русском социорианстве. Тынянов слушал в Петербургском университете лекции и Л. В. Щербы, чья работа 1915 г. «Восточнославянское наречие» описывала языковые факты исключительно в их современном, данном состоянии, и Бодуэна де Куртенэ, чьи антиламдограмматические положения о статической и динамической точках зрения на язык предвосхитили, как известно, принцип синхронии и диахронии, сформулированный Соссюром. Соссюр был в сфере интересов Московского лингвистического кружка (который имел возможность узнать о нем непосредственно от его ученика С. О. Карцевского — см.: R. Jakobson. Selected Writings, v. II. The Hague — Paris, 1971, p. 518), в особенности Г. О. Винокура. См. попытку построения поэтики с использованием разделения *langue* — *parole*: Г. Винокур. Поэтика. Лингвистика. Социология. (Методологическая справка). — «Леф», 1923, № 3, стр. *его же*. Культура языка. М., 1925, стр. 16—24, 147. «Курс» де Соссюра (см. рец. М. Н. Петерсона на изд. 1916 г. — «Печать и революция», 1923, № 6) обсуждался в ГАХН (доклад М. М. Кенигсберга 31 июля 1923 г.— Гос. Академия художественных наук. Отчет. 1924—1925. М., 1926, стр. 20); В. В. Виноградов, ссылаясь на Соссюра, Бодуэна де Куртенэ, Щербу, выдвигал «функционально-имманентный» метод системного изучения индивидуального стиля писателя¹ — см., в частности, «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем „Жития проповедника Аввакума“» («Русская речь», вып. I, Пг., 1923, стр. 286—288), «О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски)» — Л., 1925, стр. 7; ср. обращение в 20-х годах к Соссюру в таких разных областях, как этнография и теория декламации: П. Г. Богатырев. Магические действия, обряды и верования Закарпатья (1929). — В его кн.: Вопросы теории народного искусства. М., 1971; С. И. Бернштейн. Эстетические предпосылки теории декламации. — II — III, стр. 30². «Можно сказать, что большинство представителей нашей лингвистической мысли находятся под определяющим влиянием Соссюра и его учеников Байи и Сешея» (В. Н. Волошинов. Новейшие течения лингвистической мысли на Западе. — «Литература и марксизм», 1928, кн. 5, стр. 126; то же в его кн.: Марксизм и философия языка. Изд. 2-е. Л., 1930, стр. 60). Одно из первых, если не первое, свидетельство этого влияния — ссылка на Соссюра в книге Р. О. Якобсона «Появившаяся русская поэзия» (Прага, 1921), датированной автором маем 1919 г.

Важным для понимания научной ситуации начала 20-х годов представляется следующий эпизод. Как показывают материалы архива А. И. Ромма (1898—1943), участника МЛК, в 1922 г. он готовил перевод «Курса» Соссюра. Ш. Балли узнал об этом из письма своей ученицы А. К. Соловьевской, при ее посредстве началась переписка Ш. Балли и А. Сепеэ с переведчиком. Сохранились копии двух писем Ромма и два письма к нему французских ученых, выражавших обеспокоенность качеством перевода и финансовыми условиями предприятия (ЦГАЛИ, ф. 1495, оп. 1, ед. хр. 88, 111).

¹ Этот метод (характеризуя его как «феноменологический») В. В. Виноградов отличал от историко-литературного, с одной стороны, и критически-импрессионистского, с другой («Этюды о стиле Гоголя». Л., 1926, стр. 8—10).

² С. И. Бернштейн реферировал «Курс» Соссюра в ИЛЯЗВ 8 декабря 1923 г. (см.: Л. В. Щерба. Избранные работы по русскому языку. М., 1957, стр. 94).

«Я хочу только,— подчеркивал Ромм,— увидеть эту прекрасную книгу переведенной и прочитанной моими русскими коллегами». Балли и Сеше отказались санкционировать перевод Ромма. В рукописных комментариях к материалам своего архива, поступившего недавно в ГБЛ (ф. 709), А. К. Соловьева сообщает, что после этого Ромм отказался от перевода. Автограф незаконченного перевода сохранился в его архиве (ед. хр. 32). Упомянем здесь же, что в 1925 г. А. К. Соловьева сделала доклад о Соссюре в ГАХН (см. «Бюллетень ГАХН», 1925, вып. 2, стр. 27).

Концепция Тынянова возникла, конечно, в соприкосновении с кругом социорианских идей. Именно таков источник его представлений о синхронной литературной системе. Сравнивая их с учением Соссюра, можно усмотреть целый ряд аналогий. Так, систему функций-соотнесенностей можно сопоставить с языковым кодом — *langue*, а тексты, охватываемые этой системой, уподобить *parole*. Однако, поскольку, согласно Тынянову, каждое произведение является системой, оно предстает одновременно и как язык, и — по отношению ко «всей литературе» — как речь. Автофункция — это парадигматический параметр элемента, а синфункция — синтагматический. Но наиболее оригинальное отражение получило у Тынянова противопоставление синхронии и диахронии: он распространил системный подход на диахронию, хотя и не достиг той эвристической ясности, которая присуща противопоставлению Соссюра. — У Тынянова «самое попытке непрерывно эволюционирующей синхронической системы противоречиво» (пункт 8). Ср. в подготовительных записях к статье: «Противопоставление эволюции и синхронист[ической] системы ложно; спир[ионистическая] система (как соотношение) существует только под знаком дифференциальности, стало быть эволюция совершается каждый день. Каждое „новое“ произведение, каждая „новая“ глава etc. Вся разница — в том, что эволюционирует. Эволюция формальных элементов — эволюция функций» (АК). Несколько позднее в тезисах Тынянова и Якобсона «Проблемы изучения литературы и языка», подготовленных, в частности, статьей «О литературной эволюции», были прокламированы системный подход к истории литературы и снятие жесткого противопоставления «синхрония — диахрония».

В научном мышлении самого Тынянова аспект эволюции, исторического движения, несомненно, господствовал. Характерным представляется термин «эпоха-система», с помощью которого он стремился закрепить соединение исторически-временного и синхронно-системного, избежать логической операции отключения временного аспекта. Один из интерпретаторов тыняновских взглядов писал о том, что в старой филологии «эволюции литератуности не существовало», «литература распенивалась не годами, а столетиями» — «в действительности же литературная эволюция совершается значительно быстрее. Только при тех грубых средствах изучения литературы, которыми обладала старая наука о литературе, нельзя было видеть перманентной литературной эволюции, в результате которой литература в течение нескольких лет претерпевает радикальные изменения» (М. Аронсон. Кружки и салоны — в кн.: М. Аронсон и С. Рейсер. Литературные кружки и салоны. Л., 1929, стр. 33—34). Работы Тынянова давали опору для таких суждений, рисуя иногда «эволюционный скачок», совершившийся на протяжении очень короткого времени — так, в статьях «200 000 метров Ильи Эренбурга» и «Литературное сегодня», вышедших с интервалом в три с лишним месяца, зафиксированы резкие изменения, происшедшее с литературной потребностью в сюжетном романе.

Развернутую полемику с Тыняновым о возможности перенесения в литературоведение методов Женевской школы вели В. В. Виноградов в кн. «О художественной прозе» (Л., 1930), резко оценивая «Литературный факт» и «О литературной эволюции» как пересказ Соссюра (впрочем, упрек в «лингвистической контрабанде» предъявляется им и Эйхенбауму, и Шкловскому, и Бахтину — стр. 24—25; ср. рец. В. Волошина на кн. Виноградова — «Звезда», 1930, № 2). Допуская в принципе транспозицию в литературу противопоставления «язык — речь» и возможность применения (по аналогии) понятия системы «как некоей общей для известного литератур-

ного круга нормы форм» (ср. именно такое толкование *langue* в 6-м тезисе «Проблем изучения литературы и языка»), он подчеркивал, что «langues в лингвистическом смысле и системы форм литературного жанра, литературной школы — принадлежат к [...] разным series», и находил у Тынянова «грубое смешение разных понятий в этой плоскости» (указ. соч., стр. 60). В противоположность Тынянову и Якобсону Виноградов настаивал на сохранении формулы «синхрония — диахрония» в ее первоначальном значении: «своеобразные langues литературных жанров» он был готов располагать в контексте «общего языка» рядом с социальными диалектами, но при этом синхронический контекст систем должен быть дан непосредственно (как он дан для носителя современного родного языка); поскольку же «при обращении к прошлым эпохам эта предпосылка отсутствует», возможно изучение langues только современной литературы. Ср. также: «Совсем не обязательно с точки зрения соссюровской гипотезы утверждение системности литературного произведения» (стр. 61).

Ф. де Соссюр не был единственным лингвистическим источником Тынянова. В АК сохранился его рабочий блокнот (заполнялся около 1925 г.) с многочисленными выписками из кн. Ж. Вандриеса «Языки» (Тынянов пользовался парижским изданием 1921 г.). Выписки перемежаются набросками статьи — читая Вандриеса, Тынянов интенсивно осмысливал его в плане собственных идей о литературной эволюции и с помощью собственного терминологического аппарата. В описании исторических изменений фонетики, грамматики, словаря он искал аналогий, применимых в изучении литературы, прежде всего — истории литературы. Так, падение perfectных форм или образование новых вследствие смешения аориста и perfecta трактуются им как изменение формы в зависимости от изменения функции. «Многозначность» произведения (в разных историко-культурных контекстах) сопоставляется с полисемией, автоматизация литературных элементов — с превращением «полных» (значимых) слов в «пустые» (служебные)¹. Особенно интересовало Тынянова отношение семанты и морфем в слове. Отсюда следующий пункт в одном из планов статьи (в том же блокноте): «„Морфемы“ и „семанты“ в литературе. Семанта, ее соотносительность. Семанта как функция. Литература как система семанты». Ср. с этим расширительным пониманием терминов «морфема» и «семанта» современное употребление их в еще более широком, культурологическом смысле: А. Моль. Социодинамика культуры. М., 1973.

Отыскиваются следы аналогичного использования и другой лингвистической работы — книги Яна Розвадовского «Словообразование и значение слова» (Гейдельберг, 1904; немецкий конспект сохранился в бумагах Тынянова, АК) — в частности, его идеи расчленяющей аппроприации, создающей в языке как все более дифференцированные понятия, так и все более широкие родовые. Для Тынянова особенно важной здесь была мысль о том, что эти процессы совершаются путем включения некоторых элементов из старого представления (J. Roswadowski. Wortbildung und Wortbedeutung. Heidelberg, 1904, S. 87—92).

Обращение Тынянова к лингвистике диктовалось пуждами методологии литературоведения. Представляется важным отметить, что часто подчеркиваемый разными авторами историзм Тынянова носил ярко выраженный теоретический характер. Не будет преувеличением сказать, что Тынянов подошел к тому пересмотру самих эпистемологических принципов изучения литературы, который, как показало время, осуществляется в форме длительного процесса и еще далек от завершения, а в области истории литературы по ряду причин протекает особенно сложно. История литературы представляла как научная задача лишь при условии четкого теоретического осознания того, что отбирается для описания и как описывается, — и именно эти два предваряющих вопроса стали центральными в статьях о лите-

ратурном факте и об эволюции. Предмет описания не явлен исследователю непосредственно — как сумма текстов и имен, заданных культурной традицией, по должен быть выченен из общего культурного потока в виде специфического объекта. (Иначе говоря, предмет анализа историка литературы должен быть расподелен с той литературой, которая предстает восприятию читателя.) История литературы, построенная на основе теории перспективы и шедевров («история генералов»), и компендиум фактов, относящихся к области индивидуального генезиса (см. прим. 1), или сравнительно-исторических параллелей. Теория литературной эволюции мыслилась, таким образом, как некоторый метаязык.

Интерес к проблеме эволюции — теории исторического развития в 20-х годах был общим для ряда русских ученых. Напомним, что Е. Д. Поливанов, разрабатывавший учение о фонетической эволюции, относил теорию фонетических конвергенций (см. прим. 21) «к лингвистической историологии» (если применить к лингвистике термин профессора Кареева «историология» — т. е. учение о факторах исторического процесса, в данном случае о факторах исторических изменений в языке) (Е. Д. Поливанов. Фонетические конвергенции. — «Вопросы языкоизнания», 1957, № 3, стр. 77). Знаменательной параллелью к сведениям о тыняновском замысле книги «Эволюция литературы» представляется указание на то, что Поливанов «неоднократно говорил о существовании рукописи под названием „Теория эволюции языка“» (Е. Д. Поливанов. Статья по общему языкоизнанию. М., 1968, стр. 318; см. там же предположение о судьбе рукописи), первоначальным и кратким вариантом которой была, возможно, небольшая книга «Понятие эволюции в языке», изданная в 1923 г. (на узбекском из.). «Ни у одного поколения не было такого интереса к превращениям и изменчивости эволюции, — писал Тынянов Шкловскому в начале 1928 г. — В тургеневское время и не думалось так, а почему мы это чувствуем? Верно, потому, что сами меняемся и мозг расширяется» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 723).

В период затухания методологических дискуссий в конце 20-х годов вопросы, поставленные Тыняновым, не получили дальнейшей разработки; положения, которые были изложены в ст. «О литературной эволюции», а затем развиты в тезисах 1928 г., не нашли применения и в последующем научном творчестве Тынянова.

Любая методология вынуждена устанавливать критерии корректности постановки научной проблемы. Как очевидно из статьи, неизбежность проблемы соотношения литературы и внелитературных рядов была ясна Тынянову², и вопрос заключался в том, какому этапу изучения должна быть предложена эта задача как доступная научному решению. Тыняновым утверждалась ис относительная ценность исследования литературы как системы, с одной стороны, и роли «главных социальных факторов», с другой, а определились методологические границы и постулировалась иерархия филологической мысли. В пунктах 10—12 и 15 статьи была намечена принципиально важная последовательность аналитического рассмотрения: от системы произведения к определению ее места в «большой» системе целого литературного ряда и затем — выяснению соотнесенности с внелитературными социальными рядами. Но эта последняя задача в свою очередь подлежит расчленению. Социальная функция литературы понималась Тыняновым как сложная, многосоставная соотнесенность, изучение которой требует восхождения от «ближайших» социальных явлений, более прямо связанных с литературой (прежде всего жанры и стили нехудожественной речи), к «дальнейшим». В этой расчлененности и заключалось условие корректности постановки проблемы — центральной в теоретических

¹ Ср. в воспоминаниях Л. Я. Гинзбург: «Среди старых моих бумаг сохранилась запись: „Ю. Н. на днях говорил со мной о необходимости социологии литературы...“ Датирована эта запись началом июля 1926 года» (ТЖЭЛ, стр. 92).

² Ср. эту аналогию в предисл. Тынянова к сб. «Русская проза» (стр. 10).

спорах 20-х гг. Ср. о соотношении поэтики и социологии в указ. (стр. 524) статье Винокура, а также у Сакулина, пытавшегося снять претензии о формальном и социологическом подходах, прикрепляя их в своей методологической схеме к следующим непосредственным друг за другом этапам изучения: первому — имманентному, второму — каузальному. («Социологический метод в литературоведении». М., 1925). Особый интерес представляет постановка вопроса об активной социально-культурной роли литературы — ее экспансии в быт (пункт 14); этот вопрос, затронутый в ст. о Блоке, а затем в «Литературном факте», споведовался в последней теоретической работе Тынянова «О пародии» (особ. разд. 3—4).

¹ Различие эволюции и генезиса чрезвычайно существенно для Тынянова и его единомышленников. См. статьи «Тютчев и Гейне», «Аргивяне», неизданная трагедия Кюхельбекера» и прим. к ним. В свете тех идей о литературной эволюции, к которым Тынянов пришел после 1925 г., различие эволюции и генезиса в его ранних работах представляется шагом в направлении к системному пониманию диахронии. Тынянов первоначально предполагал изложить проблему подробнее. Об этом говорят следующие пункты одного из планов статьи: 1. Каузальность и генезис. 2. Кондициональность и эволюция. 3. Генезис — изучение индивидуальной изменчивости. 4. Учение об изменениях ряда (АК). Ср. в письме Тынянова к Шкловскому от сентября — нач. октября 1928 г.: «Книжка твоя „Матерьял и стиль“ в романе Льва Толстого „Война и мир“ доставила мне радость. Основная мысль (перерастание, несовпадение гелезиса с функцией) ни у кого и никогда так наглядно не выходила — можно душить руками. Литература получается сплошь процессом. Это несомнение при частном исследовании налагивает нас Переверзеву на его же материале» (ЦГАЛИ). Ср. сходную оценку Эйхенбаума в письме к Шкловскому от 16 сентября 1928 г.: «Есть беспорядок, есть места усталые, но есть и много замечательного — такого, что не может быть nigde и ни у кого кроме тебя. Главное — показать во всей остроте генезис и разницу между ним и историей — удалось очень и должно поразить в самое сердце. Осознание этой разницы дает право на смелость, которой лишены Переверзевы [...]» (ЦГАЛИ). Эйхенбаум, выдвигая проблему литературного быта, высказывался за «включение в эволюционно-теоретическую систему, как она была выработана в последние годы, фактов генезиса [...]» («Мой временик», стр. 50—53). Ср. также: Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин. Указ. соч., стр. 10.

Одним из первых в русском литературоведении на недостаточность генетического изучения указал А. П. Скафтымов — в статье «К вопросу о соотношении теоретического и исторического знания в истории литературы» («Уч. зап. Саратовского университета», т. I, вып. 3, 1923; особенно важным представляется вписаный его рукой в оттиске, подаренном П. Н. Сакулину, 6-й пункт резюмирующей части: «Всякое генетическое рассмотрение объекта должно предваряться постижением его внутренне-конститутивного смысла» — ГБЛ, ф. 264, л. 13, л. 14). Однако генетическое описание покрывает для него всю область исторического изучения целиком. Тынянов же «расслаивает» ее на две сферы — собственно генетическую и эволюционную (несистемную и системную). С различием эволюции и генезиса связан у Тынянова еще один важный тезис. Едва ли не первым в литературоведении он понял значение «паблюдательного пункта» (точка зрения) исследователя как фактора, обуславливающего самый тип историко-литературного исследования и влияющего на его результат (ср. фундаментальное значение этого положения в современных естественных науках). Вопреки мнению Ц. Тодорова в его «Поэтике», представляется, что теоретические возможности противопоставления «эволюция — генезис» не исчерпаны и оно может быть заново осмыслено без растворения второго понятия в первом.

² Ср. близкие к этому идеи А. Гильдебранда о превращении в искусстве действительных форм в относительные ценности — и всегда разные в зависимости от включения в ту или иную систему (А. Гильдебранд. Про-

блема формы в изобразительном искусстве. М., «Мусагет», 1914, стр. 67). С работами немецкой школы искусствознания конца XIX — начала XX в. члены Опоюза были хорошо знакомы. Б. Эйхенбаум, как видно из его дневника (см. стр. 455 наст. изд.), в январе — феврале 1919 г. внимательно читал Г. Вёльфлина, взгляды которого сформировались, как известно, под влиянием Я. Бургвардта, К. Фидлера и А. Гильдебранда.

³ Ср. возражение В. В. Виноградова: «Формы соотношения внутри систем и формы сопротивления между системами — явления разных плоскостей. Поэтому предполагать возможность одновременного соотнесения элементов одной системы с другими ее членами и с „подобными“ элементами другой системы незаконно» («О художественной прозе», стр. 58).

⁴ Цитата из стихотворения «Современное» (1869). В ст. «Вопрос о Тютчеве» Тынянов сравнивает эту цитату и «стройный мусинский шарох» из стихотворения «Певчесть есть в морских волнах...».

⁵ Терминологическое совпадение с Потебней («представление значения») не должно вводить читателя в заблуждение. У Потебни термин «представление» (*Vorstellung*) означает признак, который замещает собою другие, «представляет» их; это понимание отличается от общепринятого, что подчеркивал он сам (см., напр.: А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958, стр. 18). Представление, по Потебне, — это «внутренняя форма по отношению к тому, что посредством нее мыслится», это «не образ предмета, а образ образа» (А. Потебня. Мысль и язык. Изд. 4-е. Одесса, 1922, стр. 113—116). Тынянов заимствует свой пример из Я. Розадовского (*J. Rosadowksi*. Указ. соч., стр. 91).

⁶ Следующий далее абзац в журнальном тексте статьи отсутствует.

⁷ В письме к Шкловскому (середина марта — апрель 1927 г.) Тынянов писал об этом «рассказчике»: «Ты — приписываешь сюжету. Я докопался до жанрового определения „рассказа“ в 20—50-е годы. „Рассказом“, оказывается, называется жанр, где непременно был рассказчик. Совершенно точные определения (я набрал их 4). Стало быть, „барон Б.“ — был жанровой наклейкой (на старый жанр), жанровымrudimentом». О Тургеневе Тынянов замечал в письме к тому же адресату от сентября — нач. октября 1928 г.: «Тургеневский рассказ есть русский рассказ XIX века, и замечательен».

⁸ Фраза в скобках в журнальном тексте отсутствует. Тынянов имел в виду такие работы Эйхенбаума, как «Путь Пушкина к прозе» (1922; см. в ЭП), «Проблемы поэтики Пушкина» (1921; см. в ЭП) и доклад о поэзии в прозе (1920; см. публикацию Ю. М. Лотмана: Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971), вероятно ему известный (ср. прим. 4 к его рецензии на альманах «Серапионовы братья»); ср. также «Молодой Толстой» (Пб.—Берлин, 1922, стр. 33). У самого Тынянова эта проблема рассматривается на конкретном материале в статье «О композиции „Евгения Онегина“».

⁹ См. об этом: ПиЕС, стр. 46—48.

¹⁰ ПиЕС, стр. 42—45.

¹¹ В. Шкловский. «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа. Пг., 1921.

¹² J. Vendryes. Le langage. Paris, 1921, p. 95; Ж. Вандриес. Язык. М., Соцэкгиз, 1937, стр. 83.

¹³ См.: А. С. Грибоедов. Сочинения в стихах. Л., 1967, стр. 479.

¹⁴ Из письма Пушкина к А. Тургеневу от 1 декабря 1823 г. (ХIII, 80).

¹⁵ Из письма Пушкина к А. Бестужеву от 24 марта 1825 г. (ХIII, 155).

¹⁶ Это положение близко к мыслям А. Веселовского об ограниченности «свободы» художника поэтическим преданием (Неизданная глава из «Исторической поэтики» А. Веселовского. — «Русская литература», 1959, № 3, стр. 119). Другая важнейшая аналогия — требование изучения поэтической формы как объективированной данности, развивающейся по своим собственным законам (именно это было поставлено Веселовскому в главную заслугу в программном заявлении Опоюза. — «Жизнь искусства», 1919, 24 октября, № 273). Об отношении Тынянова и Шкловского к наследию Веселовского см.: Б. Казанский. Идея исторической поэтики. — П—I, стр. 10.

¹⁷ Ср. об установке в ст. «Ода как ораторский жарп». Трактовка термина у Тынянова полемична по отношению к концепциям поэтики, оперировавшим категорией телеологического. См. декларацию телеологического принципа (с полемикой против Опоязя) в ст. А. П. Скафтымова 1922—1923 гг. «Тематическая композиция романа „Идиот“» (в его кн.: Нравственные искания русских писателей. М., 1972, стр. 23—32); ср. о художественной телеологии: Жирмунский, стр. 23, 29—39, 54; П. Н. Сакулин. Теория литературных стилей. М., 1927, стр. 20; С. Балухатый. К поэтике мелодрамы.—П—III. Б. М. Энгельгардт подробно рассматривал вопрос о структурной телеологии художественного произведения в плане общей эстетики и методологии искусствознания, соглашаясь, впрочем, понимать ее вне волеустремления творца (см. его кн. «Формальный метод в истории литературы». Л., 1927). Телеологический подход находил применение и в Опоязе. Так, Эйхенбаум утверждал, что «поэтика строится на основе телеологического принципа и потому исходит из понятия приема», тогда как лингвистика «имеет дело с категорией причинности» (ЭП, стр. 337). Ср. полемику с разграничением лингвистики и поэтики по этому признаку: В. В. Виноградов. О задачах стилистики, стр. 206¹⁸. Сходную с тыняновской критику телеологического (а также каузального) подхода см.: Б. И. Ярхо. Границы научного литературоведения.—«Искусство», 1925, № 2, стр. 51—56. Особое истолкование художественной телеологии предложил Н. К. Пиксанов («Новый путь литературной науки. Изучение творческой истории шедевра. Принципы и методы».—«Искусство», 1923, № 1, см. особ. стр. 103—104; ср. полемический ответ Эйхенбаума: «Печать и революция», 1924, № 5, стр. 7—8), который связывал ее с историей текста. Очень близкую к Тынянову критику телеологического подхода дал в 1929 г. Б. В. Томашевский, возвращая Пиксанову (Б. В. Томашевский. Писатель и книга. Изд. 2. М., 1959, стр. 146—152). Отметим, однако, что эта критика обращена против телеологического, понимаемого только как «индивидуальное творческое намерение»; интереса к индивидуальности телеологии работы Тынянова не обнаруживают. С этим связано и его употребление термина «функция» — без того целевого значения, которое он получил затем у пражских лингвистов. О понимании языка как целенаправленной структуры см.: Р. Якобсон. Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами.—«Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1965; здесь же, со ссылкой на философский словарь А. Лаланда,—о распространении смешения двух значений термина «функция»: 1) роль, задача; 2) соответствие между двумя переменными (стр. 377). Понимание Тынянова близко ко второму, математическому значению. Телеологический аспект, характерный для ряда современных эволюционных теорий, оставлен за пределами его концепции — тогда как аспекту каузальному отведено вполне определенное место в намечаемой Тыняновым иерархии исследований: он отодвинут в сферу будущего изучения. Ср. также статью Якобсона (стр. 645—646), указ. в прим. 24.

¹⁸ В журнальном тексте вместо слов «известные периоды» было: «в непропад символистов».

¹⁹ См. НиЕС, стр. 159—163.

²⁰ Ср. в статье К. Зелинского «Идти ли нам с Маяковским?»: «Маяковский и Есенин — это орел и решка. Это, в сущности, две стороны одной и той же монеты» (К. Зелинский. Поэзия как смысл. М., 1929, стр. 307) — сравнение, расчет на неожиданную новизну которого оспорен Н. Асеевым (Н. Асеев. Дневник поэта. Л., «Пробой», 1929, стр. 32).

²¹ Любопытно сопоставить с тыняновскими оценками литературной личности Есенина (см. также «Промежуток») статью Асеева «Плач по

Есенину»: «Не русизмом и не национализмом завоевывал себе признание Есенин. И не только голым талантливым путром. Биографию свою помоложил он в основу своей популярности. [...] Она то и подчеркивала и акцентировала его стихи» (указ. соч., стр. 171); «И перед нами [...] — живое лицо поэта, не скованные гримасой улыбчивости и простоты, лицо человека и другое нам» (стр. 183); ср. в статье Тынянова «Блок»: ложеческое и дорогое нам» (стр. 183); ср. в статье Тынянова «Блок»: «Почти всегда за поэзий невольно подставляют человеческое лицо». См. и фигуры зачища статьи Асеева, несколько напоминающие построение рассуждений Тынянова в статье о Блоке: «Скажут: это не так. Есенина знали и любили до смерти. Кто знал и что знали? [...] Кто же плачет? И о чём? (стр. 168). О тыняновском понимании биографии см. прим. к статье «Литературный факт».

²² Биография В. Г. Бенедиктова, составленная Я. П. Полонским.—В кн.: В. Г. Бенедиктов. Сочинения. СПб., 1902, стр. 1.

²³ По мнению В. В. Виноградова, термин восходит к «бодуэновской теории языка» (НиЕС, стр. 7—8). В одном из планов статьи вслед за пунктом «Вопрос о конвергенции» следовал пункт «Вопрос о дивергенции» и том «Теория „традиций“, „влияния“» (АК). Представляется, что термины «конвергенция» и «дивергенция» могли быть заимствованы непосредственно у Е. Д. Поливанова, входившего в Опояз и лично хорошо знавшего Тынянова (нельзя исключить, впрочем, и знакомство Тынянова через Л. А. Зильбера с терминами в том их значении, которое получили они в биологической науке, откуда проникли затем в филология — ср., напр., у Брюнеттьера). Теория фонетической конвергенции Поливанова еще до печатного ее изложения была известна по его лекционному курсу, читанному в 1920—1921 гг., и докладам (см.: Вяч. Вс. Иванов. Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова.—«Вопросы языкознания», 1957, № 3, стр. 73). Своебразное свидетельство популярности термина — строки из шуточных куплетов, сложенных студентами ГИИИ:

И страсть с формальной точки зрения

Есть конвергенция приемов.

(Сб. «Как мы пишем» [Л.], 1930, стр. 215).

После попытки привлечения одного из ранних опоязовцев в «новый» Опояз (см. прим. к «Проблемам изучения литературы и языка») имя Поливанова не раз встречается в переписке Тынянова и Шкловского — под воздействием складывается, например, отношение Тынянова к Марру: «Он, кажется, отрицает язык как систему, и язык для него куча отдельных вещей», — пишет Тынянов 5 марта 1929 г. со слов Поливанова и в том же письме прибавляет: «Достать доклад Евгения Дмитриевича» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 724). Несомненно, имеется в виду доклад «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория», прочитанный Поливановым 4 февр. 1929 г. в Москве на дискуссии в подсекции материалистической лингвистики Коммунистической академии (дискуссия эта получила впоследствии название «Поливановской»; см. о ней: А. А. Леонтьев, Л. И. Ройзенбом, А. Д. Хаюгин. Жизнь и деятельность Е. Д. Поливанова. В кн.: Е. Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. М., 1968, стр. 21—23). 10 апреля 1929 г. Шкловский писал: «Посыпаю тебе стенограмму доклада Поливанова [...] Поливанов болен и мрачен. В Университете оставил за ним татарский язык» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441). Следовали за ним Тынянова к Шкловскому от дующее упоминание о Поливанове — в письме Тынянова к Шкловскому от 2 июня 1931 г.: «Поливанова прочел. Какая умница и какой писатель. Может быть, он хочет беллетристикой или вообще литературой заняться? Он несомненно, кончит» (там же, ед. хр. 724). Речь идет, надо полагать, о том, что вышедшем в Москве сборнике статей Поливанова «За марксистское языкознание», возможно, присланном Шкловским Тынянову. В мае 1935 г., усиленно приглашая больного Тынянова к себе в Москву, Шкловский писал: «Мы сидели бы, разговаривали бы, вспоминали бы о Пушкине, Серебряковском, Романе Якобсоне, Поливанове и опять об Александре Серебряковском».

²⁴ См. у В. В. Виноградова о телеологии стиля, приема и т. д. в «Эволюции русского натурализма» (Л., 1929), о «телеологии эстетического протеста» при создании «нового художественного мира» («Этюды о стиле Гоголя». Л., 1926, стр. 203).

геевиче». И, наконец, последнее упоминание — 28 марта 1937 г.: «Евгений Дмитриевич прислал мне благородное и талантливое письмо» (там же, ед. хр. 441).

²⁴ Этот подход к вопросу о влияниях определился в ранних работах Тынянова — см. прим. 1. Ср. 5-й тезис «Проблем изучения литературы и языка» (в част. изд.). Ср. также: R. Jakobson. Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik. — «Slavische Rundschau», 1929, № 8, S. 640.

*

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

Впервые — «Новый Лев», 1928, № 12, стр. 35—37. Написано в соавторстве с Р. О. Якобсоном. Печатается по журнальному тексту, в котором тезисы сопровождались следующим предисловием:

«Лев помещает тезисы современного изучения языка и литературы, предложенные Романом Якобсоном и Юрием Тыняновым.

В старой науке существовало принципиальное разграничение теоретических и исторических дисциплин. Литературоведение распадалось на поэтику и историю литературы. Поэтика описывала конструктивные элементы литературного произведения, оторванные от общей конструкции и отвлеченные от эволюционного процесса литературы. История литературы регистрировала случайно подобранные в хронологическом порядке биографические, историко-культурные и литературные факты.

Аналогичное размежевание областей исследования мы видели и в старой лингвистике. Фонетика, например, была чисто описательной дисциплиной, классифицирующей звуковые элементы без учета их функциональной значимости в общей языковой системе.

Современная наука о языке и литературе изживает это противопоставление теории и истории, так как теоретический анализ невозможен без учета исторической диалектики (протекание и изменение литературных — языковых величин) и обратно — историческое исследование не может быть плодотворным без осознания в теории специфики материала.

Вместо вопроса старой науки „почему?“ на первый план выдвигается вопрос „зачем?“ (проблема функциональности). Изучению подлежат не только конструктивные функции (функции элементов, образующих литературный факт) и не только внутриструктурные функции различных жанров, но и социальная функция литературного ряда в разные периоды времени.

Таким образом, наука о языке и литературе переходит из разряда естественноисторических дисциплин в разряд дисциплин социальных, вернее, социологических.

Редакция.

История написания тезисов выясняется из материалов архива В. Б. Шкловского (его переписки с Тыняновым, писем к нему Р. О. Якобсона) и воспоминаний Р. О. Якобсона (АК).

1928 год, когда Тынянов заканчивал журнальную публикацию романа «Смерть Вазир-Мухтара» и готовил итоговую книгу своих научных статей, был для него кризисным^a. В октябре этого года, читая накануне отъезда

для лечения в Берлин корректуры АиН и испытав приступ разочарования в результатах девятилетней работы, он писал Шкловскому: «Скука, да и глупость, тяжелодумье и провинция. Вот мои 9 лет. Читатель мой — Кюхли. Названия у книги нет. Теперь хочу начать новую жизнь: романов больше не писать. Обещаюсь также писать не „недостаточно ясно“, а „слишком ясно“». Переписка с Якобсоном началась, видимо, поздолго до отъезда Тынянова. В сентябре — октябре он писал Шкловскому: «Приехал Груздев, привез поклон от Романа Якобсона. Я его увижу»; 6 сентября — ему же: «Письмо от Романа Якобсона, подробное о Хлебникове, очень любопытно. Жаль, что раньше не писал» (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 723). В Берлине переписка продолжилась, была намечена встреча в Праге. «От Романа Якобсона имею письма, но не знаю еще, когда к нему поеду, потому что буду здесь еще лечиться», — сообщал Тынянов Шкловскому 23 ноября 1928 г. (ЦГАЛИ).

Предмет обсуждений был подготовлен размышлениями о пересмотре идеи Опояза, научной судьбе общества, о замысле совместной истории литературы XVIII — XIX вв., присутствующем в переписке Тынянова со Шкловским 1928 г. и приоткрывшимся было новыми издательскими и организационными возможностями, о которых сообщал ему Шкловский в ноябре — начале декабря: «Лев распался [...] Я выйду из остатков Лева^b. Если нам нужна группировка, то хорошо было бы придать нашей дружбе уставный характер и требовать себе места в Федерации^c и журнал. Как это ни странно, но может выйти сочувствие широких масс на нашей стороне. Медведев пытал книгу „Формальный метод в литературоведении, критическое введение в социологическую поэзию“» (15 ноября 1928 г.). В это же самое время (14 ноября) о возможном объединении вокруг заявлено осмысливших теоретических принципов пишет Шкловскому из Праги Р. О. Якобсон (ЦГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 795); в этом же письме: «По-настоящему, работа формалистов должна была только начаться [...]. Теперь, когда проблемы стали обнажены ясны, — вдруг разброда. Страх перед проблемой, испепел желание объяснять один ряд другим...» В следующих двух письмах Шкловского Тынянову в Берлин замысел совместной научной деятельности конкретизируется: «Получил письмо Романа Якобсона, очень хорошее письмо, оно пишет, что происходит не кризис формализма, а кризис формалистов — это не лишено остроумия, но ты с ним согласишься. Нас мало и тех нет. Нужно быть вместе и работать вместе, нужно пытаться сборник максимальной теоретичности и максимального количества общих положений. Статьи найдутся у тебя, Романа, у меня, м[ожет] б[ыть] Поливанова» (27 ноября). «Когда ты приедешь? Пиши об этом немедленно. Реальное мое предложение на данный момент следующее — отнесись внимательно. Развалился Лев. В Федерации очистилось пять мест

—ожелания на ближайший год нашей литературной науке. Во всяком случае проявленная ею живучесть гарантирует появление в ближайшее время новых ценных работ, и, надо думать, русская наука о литературе и теперь не окажется в хвосте международной науки» (газ. «Читатель и писатель», 1928, № 41, стр. 4).

^a Расхождения Лефа с Опоязом обострились, по-видимому, весной 1928 г. В дневнике Эйхенбаума рассказано о заседании Отдела словесных искусств ГИИИ вместе со Шкловским и С. Третьяковым, состоявшемся 5 марта: «Вышло совсем глубокое, важное заседание. [...] Потом разговор о Лефе и о нас. Говорил С. Третьяков — спокойно, но с упреками. „Мы думали, что здесь, если не родные братья, то двоюродные. Надо решить — работать вместе или быть врагами. Нельзя считаться родственниками и потому сожительствовать“. Говорил еще Юра, говорил я — разошлись на том, что надо съехаться в Москву и поговорить деловым образом» (ЦГАЛИ, ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 247, л. 23—23 об.).

^b Речь идет о Федерации объединений советских писателей (ФОСП), созданной в январе 1927 г.

^a Причины этого были не только сугубо внутренние; в ответе на анкету «Писатели о перспективах литературного сезона» Б. В. Томашевский, ту, «Писатели о перспективах литературного сезона» Б. В. Томашевский, воздерживаясь от пожеланий поэзии (которой «позволительно быть длительной»), писал: «Еще менее уместны, но уже по другим причинам,



Ю·Н·ТЫНЯНОВ ПОЭТИКА

ИСТОРИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ

КИНО

Poetika, istorija literatury i Kino.

Tynjanov, Yuri N.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1977